

А. А. Калинин

«УГЛОВОЕ ОКНО КУЗЕНА»,
ИЛИ ГОФМАН ОСТАЕТСЯ
ГОФМАНОМ

Показано, что Э.Т.А. Гофман остался верен своему кантианскому мировоззрению и кантианской линии поведения до конца, несмотря на политические преследования.

Es wird gezeigt, dass E. T. A. Hoffmann seiner Kantischen Weltanschauung und Kantischer Handlungsweise, trotz der politischen Verfolgungen, bis zu Ende treu geblieben ist.

Ключевые слова: *игра с романтизмом, принцип прежде-теперь-потом, точка зрения (угол зрения), общественный прогресс.*

Можно ли видеть в этой последней новелле Гофмана некий новый «решительный шаг вперед в восприятии принципов художественного творчества и сущности искусства»? [2, с. 378]

Так, считает не только Клаус Гюнцель, чье мнение на этот счет я только что привел. Это мнение многих других историков литературы, обращающихся к творчеству Гофмана. И действительно — можно, при условии, если все предыдущее творчество великого писателя было романтическим, а сам он в его философско-художественном мирозерцании был типичным романтиком. Однако условие это должно быть отвергнуто. Напротив, все творчество Гофмана нужно рассматривать как мировоззренческий и поэтико-стилистический спор с романтизмом. Гофман *играет* штампами романтизма, пародируя их и используя для целей, далеко выходящих за пределы романтизма. *Игра романтизмом и игра с романтизмом* — это приемы поэтики, с помощью которых достигаются совершенно новые результаты. «Угловое окно...» в этом смысле не содержит в себе принципиально нового поворота в творчестве. Гофман в «Угловом окне кузена» по этому поводу сам о себе заявляет, что «мое воображение не хуже мастера Калло или нашего современника Ходовецкого набрасывает эскизы один за другим, и контуры их порой довольно-таки смелы»

[3, с. 508]. Это его заявление о смелости прием во внимание, но главное в нем вовсе не это, а его утверждение, смысл которого в том, что воображение писателя действует подобно «комнате смеха», в которой, наряду с кривыми зеркалами, есть и обычное — прямое. Прямое зеркало — это следование манере художника Даниэля Ходовецкого (1726—1801), отличавшегося в своих гравюрах исключительной точностью в изображении быта и культурно-исторических реалий XVIII века, тогда как кривые зеркала сминают или, напротив, растягивают отображаемого ими персонажа в такой причудливой проекции, на которую подчас и фантазии Жака Калло недостаточно. Одно-временное единство двух этих стилевых манер, сопряженных в одном произведении, и в самом деле можно характеризовать как *бурлеск*, мастером которого был Поль Скаррон, на манеру которого писатель также ссылается. Правда, приемы бурлеска Гофман перенес в совершенно иную тематическую плоскость по сравнению со Скарроном, которого он аттестует читателю в самом начале «Углового окна...» как писателя, отличающегося «особой живостью фантазии» и шутками «причудливо-юмористического характера». «Скарронизмы» и в самом деле изобилуют в этой новелле, раздвигая горизонты непосредственно в ней отраженного городского берлинского быта. Однако ни о каком натурализме тут не может быть и речи, хотя очень легко ошибиться и усмотреть в новелле переход к поэтике «натуральной школы», если не учесть кантовского настроя в замысле Гофмана. Писатель как видел ранее, так и видит опору бытия в эмпирической реальности: это внушенная Кантом мировоззренческая суть лишь упрочивается; и мало что меняется от того, фантастический ли мир объясняется в конечном счете реальностью, или реальность находит свое объяснение в фантазии, вернее, с помощью фантазии, развитой размышлениями о жизни. И в том и в другом случаях не допускается отрыва от действительного мира, получающего в свете искусства всестороннюю критическую оценку. И сам Клаус Гюнцель пишет, что Гофман в пропетой им лебединой песне лишь продолжает, по сути дела, творчески совершенствовать свою поэтическую манеру «серапионовы принципа». Не последнее произведение тяжело больного писателя было некой новацией — новаторским было все творчество Гофмана.

А вот несгибаемому духу писателя, отстаивающему свои мировоззренческие убеждения в условиях, когда за них он подвергся политическому преследованию, дивиться можно. И можно и нужно восхищаться оптимизмом человека, испытывающего тягчайшие, нестерпимые физические боли, не отчаивающегося и пренебрегающего угрозами и близкой смерти, и уголовного наказания и продолжающего и в таких обстоятельствах свои попытки научить читателей разбираться в реальности, понимать ее так, как он ее понимает.

«Угловое окно кузена» — отнюдь не простая и беспретенциозная реалистическая зарисовка и не только разъяснение поэтики Гофмана, как это произведение подчас воспринимается, а нечто большее.

Да, сюжет новеллы, что кажется необычным для Гофмана, совершенно прост. Н. Я. Берковский в своем анализе творчества Гофмана излагает его в нескольких фразах: «Старый писатель, разбитый параличом, осужденный на неподвижность, сидит со своим юным (? — юность автора, от имени которого ведется рассказ, ни откуда не следует. — Л. К.) кузеном у углового окна, где-то в высоком этаже высокого дома, где он проживает, и из окна этого, выходящего на большую рыночную площадь, учит гостя смотреть и наблюдать — учит его искусству видеть, как называет он это занятие. Оба всматриваются в

персонажей рынка — в продавцов, в покупателей, фиксируют того или этого, и задача их поставить человеку диагноз: угадать по внешнему виду и по внешним приметам характер и биографию, кто он, кем он был и чего от него следует ожидать. И, изложив далее один из преподанных таким манером уроков, делает Н. Я. Берковский окончательный вывод: образ, в каком предстает человек, не есть неподвижность и догмат. За каждым человеческим лицом волнуются миры возможностей. Старый писатель в новелле Гофмана учит своего кузена схватывать возможности людей, помещать свое трактование отдельного человека между одной возможностью и другой. Задача художника — почувствовать в человеке его свободные силы и воссоздать их, сколько это доступно» [1, с. 458—459].

Новелла тем не менее не так проста и однозначна. Это не набор микроскопических вставных новеллок, обрамленных встречами двух писателей, из которых один уже обладает опытом домысливания биографий людей, увиденных им из своего окна — во втором этаже на углу Таубен- и Шарлоттенштрассе, выходящего на известную берлинскую площадь Жандармен Маркт, а другой начал этому у него учиться. Берковский, ограничивая содержание новеллы только этим искусством наблюдения и домысливания, не столько ошибается, сколько упускает из виду ее злободневную направленность. За пределами внимания критика остается самое главное — тенденция, та не бросающаяся в глаза тенденция писателя, вдохновляемая усвоенной им светлой кантовской исторической перспективой, которая освещает произведение глубоким внутренним светом.

Конечно же, сразу читателю становится ясно, что два кузена — это не кто иной, как сам Эрнст Теодор Амадей Гофман своею собственной персоной. Он раздвоился и ведет беседу по поводу увиденного с самим собой как со своим двойником. Прием этот широко Гофманом применяется по отношению к его героям, и только здесь удваивается он сам. Писатель вряд ли стремится это скрыть, даже введя в новеллу элементы драматургические, помечая реплики одного из собеседников как «Я», а второго как «Кузен». Однако участники диалога в ходе его неоднократно меняются ролями, если внимательно приглядеться. «Я» — вовсе не ученик, выдерживающий эту роль до конца, которого «Кузен» учит домысливать и воображать, мысленно воссоздавая в фантазии как прошлое, так и будущее наблюдаемых в лорнет персонажей рыночной жизни. Почти сразу же с успехом начинает это делать «Я», заслужив немедленное одобрение «Кузена», а затем уже и разобрать невозможно, кто из кузенов — учитель, а кто — ученик.

«Угловое окно...» писалось сразу же по завершении «Повелителя блох», едкой сатиры на антидемократическую политику короля Фридриха Вильгельма III. На основании прямого распоряжения короля по запросу прусского правительства рукопись «сказки», как назвал «Повелителя блох» Гофман в подготовленной им оправдательной речи, была конфискована в издательстве Вильманса во Франкфурте-на-Майне вместе с отпечатанной уже частью произведения. Началось служебное расследование, допросы больного писателя. Новелла была продиктована Гофманом в этой обстановке. Казалось бы, человек должен испугаться, отступить хотя бы на время из тактических соображений в своей борьбе с реакционной юстицией и полицейским произволом. Но не так понимает свой и служебный, и человеческий долг великий писатель, одновременно по необходимости судейский чиновник, для которого честь мундира превыше всего. Принципы права человечество вырабатывало

со времен Рима до Канта две тысячи лет, и быть верным этим принципам — это быть верным всечеловеческому гуманизму, а Гофман, осознавая себя частичей человечества, считал долгом укоренять гуманизм в людях. Писатель лишь основательнее маскирует, глубже прячет в подтекст свою тенденцию. Стратегия же не меняется.

Новелла и открывается в экспозиции, и венчается в финале изречением Горация: “Et si male nunk, non olim sic erit!” — Пусть плохо сейчас — не всегда так будет! На самом видном месте в комнате больного писателя красуется эта двусмысленная фраза. Она явно сродни остроумному названию известного трактата Канта — «К вечному миру», начинающемуся такими словами: «К кому обращена эта сатирическая надпись на вывеске одного голландского трактирщика рядом с изображенным на этой вывеске кладбищем? Вообще ли к *людям* или, в частности, к главам государств, которые никогда не могут пресытиться войной, или, быть может, только к философам, которым снится этот сладкий сон? Вопрос остается открытым». И мы вправе спросить вместе с Гофманом: кому сулит утешение в будущем изречение Горация? Больному старику в месте вечного упокоения? Или народу, обреченному в ходе выпавших на его долю испытаний демократические исторические перспективы?

Кант о подтексте своей формулы объявляет, как видим, сразу же, справедливо считая, что двусмысленность, витающая в сознании читателя, обостряет внимание и восприятие предлагаемых правовых директив трактата; у Гофмана же иронический смысл его изречения искусно упрятан. Если принять во внимание акцентированный Гофманом финал, в котором братья прощаются, когда больному пришло время принимать пищу, угощать которой здорового было бы напрасно, и этим финалом ограничится, то дилеммы не возникает:

«Я указал на листок, прикрепленный к ширме, обнял кузена, крепко прижал его к своей груди.

— Да, брат мой, — воскликнул он голосом, который проникал в самую душу и наполнял ее нестерпимой печалью, — да, брат, — et si male nunk, non olim sic erit!

Бедный брат!» [3, с. 513]

Однако итог произведенных из окна наблюдений за жизнью рыночной площади в базарный день вовсе не так пессимистичен. Новелла имеет еще один — скрытый от скользящего по поверхности глаза — финал. Для смысла ее этот финал важнее, ради него затеян и весь рассказ.

Увиденное двоюродными братьями из окна — не простой ряд обсужденных ими эпизодов, выстроенных в ни на что не претендующую случайную последовательность: взгляни туда... а вот погляди сюда... а тот-то, видишь... да нет, не эта... Маленькие вставные новеллки, на первый взгляд произвольные, подчинены определенному смысловому принципу, который можно определить как принцип *до и после*, или принцип *прежде-теперь-потом*. Этот принцип лежит в основании оценки увиденного из окна. Важно не ограничится фиксацией своего внимания на своеобразии бросившегося посетителя рынка, отметив все тонкости его *теперешнего* поведения; важно усмотреть, что было *причиной* (прежде) его настоящего поведения и какие предполагаются следствия (потом).

Гофман явно оценил писательскую находку Канта — его хитроумное название знаменитого трактата — и отыскал мало чем уступающую ей формулу Горация. Кому не хочется попробовать свои силы в соревновании с гением? Но принцип оценки событий *прежде-теперь-потом* вдохновлен, по всей веро-

ятности, другим трактатом Канта, не могущим пройти мимо внимания Гофмана. Трактат этот — «Спор факультетов», которому, кстати, именно в прошедшем 2008 году исполнилось 210 лет. Произведение во многих смыслах особенное, получившее широкую известность. Оно искрится неповторимым язвительно-грустным и в то же время добрым Кантовым юмором, в нем значительно смягчена та стилистическая сухость и усложненность синтаксиса, что свойственна эзотерическим его трудам, тройственный этот трактат как-то по-особенному личностен. Большой писатель должен был обратить на него внимание еще и по той причине, что Кант делится здесь своими диететическими находками, наблюдениями и правилами, выработанными и реализуемыми на протяжении 75 лет жизни. Чувствуется в «Споре факультетов», как страдает старый философ от того, что пережил не только большинство своих друзей-ровесников, но многих и из числа учеников, и как хотел бы он научить их «жить долго и быть здоровыми» при этом, в чем и заключается диететическое искусство профилактики.

Конечно, писателя привлекли в данном случае не только диететические рецепты трактата, а его второй — философско-исторический — раздел «Спор философского факультета с юридическим». Первоначально он задумывался Кантом как ответ на вопрос: «Находится ли человеческий род в постоянном продвижении к лучшему?» Вопрос и стал подзаголовком этого второго раздела. Кант здесь отмечает, что, когда смотришь на ход дел человеческих с момента возникновения человека на Земле просто фиксирующим события, непредубежденным, глазом, бессмысленность процесса напоминает поведение людей в рыночной сутолоке, где человек норовит тут же сбыть ближнему только что им купленную самому ему абсолютно не нужную вещь. «Нашему роду, — констатирует великий кенигсбергский философ, — присуща деятельная глупость: ... строить с тем, чтобы иметь возможность разрушать; и возлагать на себя безнадежное бремя вкатывать Сизифов камень на гору, чтобы позволить ему скатиться вниз» [4, с. 194.]. Такой взгляд на абсолютную бессмысленность истории Кант называет абдеритизмом¹ [4, с. 192]. «Но, может быть, и наша неверно избранная точка зрения, — делает свое предположение кенигсбергский мудрец, обратившись к звездному небу в очередной раз, не ставший, правда, столь же широко известным, как тот, что звучит со страниц «Критики практического разума», — с которой мы смотрим на ход человеческих дел, отчасти является причиной того, что последний кажется нам столь неразумным. Планеты, если наблюдать за ними с Земли, то движутся назад, то покоятся, то перемещаются вперед. Если же изменить точку зрения и наблюдать за ними с Солнца, что доступно только разуму, то окажется, что они постоянно равномерно движутся в соответствии с Коперниковой гипотезой» [4, с. 196—198].

Именно о точке зрения и идет речь в новелле «Угловое окно», и ею определяется характер увиденного: «Мой кузен живет в угловом доме, и из окошка маленького кабинетика он сразу может обозревать всю панораму огромной

¹ За примерами абдеритистского поведения здесь, — на родине и Канта, и Гофмана, — не надо далеко ходить: выстроить красивый город Кенигсберг и стереть его с лица земли; начать заново весь процесс под иным именем. И история всего человечества, в отдельных моментах и в целом, может рассматриваться как совершенно аналогичная местной кенигсбергской.

площади» [3, с. 489]. Таков уж обычай у писателей и поэтов селиться поближе к небу и непременно в маленьких низеньких комнатах, как правило, со скошенными стенами, меланхолически замечает писатель. Наблюдатель находится на земле, но как бы и на небе; точка наблюдения одна, но обеспечивает два угла зрения. Если смотреть под *земным* углом зрения, панорама открывается такая: «Рынок казался сплошной массой людей, тесно прижатых друг к другу, и можно было подумать, что яблоку, если сбросить его в толпу, некуда будет упасть». Настоящий людской муравейник, движение в котором еще более бессмысленное, чем в подлинном муравейнике, когда его потревожишь. Но ведь недаром угол зрения, хоть и земной, высоко может быть поднят: «Фантазия взлетает вверх и воздвигает высокие радостные своды, возносящиеся до самых небес, сверкающих синевой».

Гофман берет на вооружение методологический прием Канта: разнесение точек зрения в пространстве помогает раздвинуть их во времени, смотреть на обыденные события в разном временном масштабе. Это и есть принцип *до и после* (или принцип *прежде-теперь-потом* с вариантами *прежде-теперь* и *теперь-потом*), принцип временного горизонта: чем выше точка зрения наблюдателя, тем все более смутен горизонт будущего, и лишь очертания отдельных предметов угадываются достаточно явственно.

В «Споре факультетов» Кант рассуждает в том смысле, что общественно-исторический процесс может быть делом рук самого человечества, причем «применительно не к отдельным индивидуумам (ибо это дало бы лишь бесконечные подсчеты и исчисления), а ко всему человечеству, разделенному на Земле на народности и государства [4, с. 201—202]. Судить о прогрессе можно, следовательно, наблюдая только за действиями народов или государств.

Для этого необходимо, чтобы народ задумал какое-то прогрессивное действие и оно было осуществлено. Таким действием мог бы быть, например, переход к республике как форме правления, при которой труднее и начать войну, и вести ее. Затеявший дело революционного перехода к республике народ не должен жаловаться, если оно ему не удалось, так как он действовал противоправно (пусть против плохого права, но все же против *права*), а правовое состояние всегда лучше естественного. Но если оно — дело революции — удалось, свергнутый деспот не вправе начинать контрреволюционный поход.

Итак, историческое действие, направленное в сторону возрастания моральности или даже возрастания условий для моральности, должно быть эмпирически очевидным, происходить на наших глазах, теперь. Человечество при этом становится волей-неволей *зрителем* свершающихся событий: «В этой игре великих преобразований лишь образ мышления зрителей *открыто* проявляет себя и заявляет во всеуслышание о таком всеобщем и вместе с тем бескорыстном их сочувствии играющим на одной стороне против играющих на другой... это доказывает (своей всеобщностью), что человеческий род в целом обладает характером и (своим бескорыстием) что этот характер, по крайней мере в задатках, морален; и он не только позволяет надеяться на продвижение к лучшему, но уже сам по себе есть таковой, насколько это возможно для него в данный момент» [4, с. 201—202].

Таким образом, события, обладающие необходимыми качествами и свершающиеся теперь, дают нам право экстраполировать их свойства, аналогичные в чем-то теперешним, как *до*, так и *после* их, как в прошлое, так и будущее.

Здесь-то знаменитый профессор Альбертины, у которого учился Гофман, и дает одну из важнейших своих оценок Французской революции: «Революция духовно богатого народа, происходящая в эти дни на наших глазах, по-

бедит ли она или потерпит поражение, будет ли она полна горем и зверствами до такой степени, что благоразумный человек, даже если бы он мог надеяться на ее счастливый исход во второй раз, все же никогда бы не решился на повторение подобного эксперимента такой ценой, — эта революция, говоря, находит в сердцах всех зрителей (не вовлеченных в эту игру) равный их сокровенному желанию отклик, граничащий с энтузиазмом, уже одно выражение которого связано с опасностью и который не может иметь никакой другой причины, кроме морального начала в человечестве» [4, с. 202].

Кант писал эти строки, явно наблюдая за итальянским походом французских революционных войск 1796—1797 годов под командованием Наполеона Бонапарта, восхищался его успехами и правильными, как он считал, в это время политическими действиями Бонапарта, поскольку тот не просто освобождал Италию от австрийской оккупации, но еще, как результат своих побед, окружал революционную Францию республиками, вместо прежних феодальных монархий. (Важная забота государств, стремящихся к вечному миру в своей политике, — утверждал Кант в трактате 1795 года “*Zum ewigen Frieden*“.) Как уже говорилось, «Спор факультетов» увидел свет в 1798 году. Народ Италии встречал французскую армию овациями и цветами; дивились и сочувствовали необычайным победам народы Европы. Описывая эти события в известной своей книге «Наполеон Бонапарт», А.З. Манфред приводит слова Стендаля из «Пармской обители»: «Вместе с оборванными бедняками-французами в Ломбардию хлынула такая могучая волна счастья и радости, что только священники, да кое-кто из дворян заметили тяжесть шестимиллионной контрибуции, за которой последовали и другие денежные взыскания. Ведь эти французские солдаты с утра до вечера смеялись и пели, все были моложе 25 лет, а их главнокомандующему недавно исполнилось 27, и он считался в армии самым старым человеком» [цит. по 5, с. 144].

Став свидетелем всех этих событий, Кант делает свое окончательное заключение: «Итак, это не просто благожелательное и в практическом отношении рекомендуемое, но, вопреки всем скептикам, имеющее силу и для самой строгой теории положение: род человеческий *всегда шел* по пути прогресса к лучшему и *будет идти* этим путем и впредь (курсив мой. — Л.К.); это положение, если иметь в виду не только происходящее в том или ином народе, но и его распространение на все народы Земли, которые постепенно будут принимать в этом участие, открывают перспективу необозримого будущего...» [4, с. 210].

Как раз эти проблемы, обсуждаемые Кантом в форме философско-правового трактата, составляют сущностное содержание новеллы Гофмана, заключенное в художественную форму, в которой живые впечатления наблюдаемой жизни так обволакиваются, так напитываются субъективной, вместе и эмоциональной и ценностно-рефлексивной, влагой душевной жизни героев повествования, из которых один — его автор, что эти проблемы путей общественного прогресса предстают перед нами многомерней, сложнее, полнокровней. В художественно-поэтической форме слиты в целое все тенденции реальной жизни, тогда как философ их аналитически разделяет на утрачивающие сразу же цвет и запах, плотскую осязаемость и вкус нити, из которых выделяет ведущую, лишаясь возможности наблюдать противоречивое и многосложное их взаимодействие.

Конечно, требуется умение читать. Можно заметить в новелле только отмеченные *живые впечатления непосредственной жизни* и заключить: да, рыночные герои как живые — недурно описаны. Но можно самому пропитаться *душевной и духовной субстанцией* автора, осознав его смыслы как главные и претворив-

пись с ним в целое благодаря духовной субстанции, ставшей для обоих единой. Автор рассчитывает, конечно, на последний род прочтения, приоткрывающая двери в свое сердце и мозг.

При помощи совершенно обыденного жизненного материала — будничной жизни обыкновенного рынка — обращается Гофман к проблемам исторических перспектив, проблемам будущего, соотнося его с личной бренностью. Присутствие исторического времени — исторических *до, теперь* и *после* — умеет увидеть он в обыденности бытия. Подобно Канту, средством для этого использует писатель Французскую революцию. Гофман, конечно, обращается к позднему ее этапу, когда революционный дух событий значительно повыветрился. Речь идет об оккупации Пруссии французскими войсками в ходе войны Наполеона против австро-пруско-российской коалиции и состоянии, в котором Пруссия оказалась после Тильзитского мира.

А потому важно отдавать себе трезвый отчет, что же было *прежде*. *Прежде* — был разгром Пруссии войсками Наполеона и ее оккупация; было увольнение всех королевских чиновников, от которого, как известно, пострадал и Гофман, оказавшийся после этого без средств; состоялись отмена старых прусских порядков и введение «кодекса Наполеона»; было появление не только большого количества расквартированных солдат, но и французских деловых людей, предприимчивых актеров, музыкантов и прочего люда. Началось активное взаимное знакомство двух народов.

Как бы мимоходом, вскользь, но характерно то, что в качестве самого первого наблюдения, из углового окна оказалось как раз такое:

«Кузен. <...> За дело, брат! Посмотрим, не удастся ли мне научить тебя хоть бы основам этого искусства — уменню видеть. Погляди-ка на улицу, прямо перед собой! Вот возьми мой лорнет. Ты видишь эту несколько странно одетую особу, у нее еще на руке висит большая корзина для покупок? Особа эта, увлеченная разговором со щеточным мастером, по-видимому, весьма быстро обдѣлывает всякие делишки, вовсе не имеющие отношения к пище телесной.

Я. Я заметил ее. Вокруг головы она повязала яркий, лимонно-желтый платок, на французский лад, точно тюрбан, и лицо ее, как и весь облик, ясно говорит, что она француженка. Вероятно, осталась после войны и сумела неплохо здесь устроиться.

Кузен. Неплохо! Бьюсь об заклад, муж ее нажил недурное состояние в какой-нибудь отрасли французской промышленности, и жена может наполнить свою корзину самой лучшей провизией...» [3, с. 491]. Как видим, француженка в толпе немцев чувствует себя совершенно естественно, нет ни малейшей к ней враждебности. (Это наблюдение нам еще в ходе дальнейшего анализа понадобится.)

В новелле тот из кузенов, что имеет опыт наблюдения из своего окна, говорит об этом периоде — приблизительно в десять лет или чуть больше — так: «Вообще, дорогой кузен, наблюдение рынка укрепило меня в мысли, что с того злополучного времени, когда дерзкий и надменный враг захватил нашу страну, тщетно пытаясь подавить ее дух, который как крепко сжатая пружина, тотчас же выпрямлялся с новой силой, в берлинском народе произошла замечательная перемена. Словом — улучшились и с внешней стороны нравы народа; а если ты как-нибудь в погожий летний день после обеда отправишься к балаганам и посмотришь на публику, что собирается в Моабите, то даже у девушек из простонародья и у поденных рабочих ты заметишь стремление к некоторой куртуазности, весьма забавное» [3, с. 510]. «Дерзкий и надменный враг», оказывается, содействовал смягчению нравов у прусского населения и

заронил в него «забавное стремление к куртуазности». Выясняется также, что этим дело не ограничивается: «дерзкий и надменный враг» сумел заронить в народе тягу к свободе и умение самостоятельно разрешать возникающие, хотя теперь много реже, чем прежде, конфликты, тогда как раньше без вмешательства полиции и полицейского разбирательства обойтись никак было нельзя. Проявилось *вдруг* стремление в народе самим, без предписаний и надзора за выполнением обязанностей и норм совместной жизни, вести себя благочинно и достойно, а если где порядок нарушается, восстанавливать его просто и естественно. Обнаружился *вдруг* какой-то демократический дух, новые условия извлекли его на свет божий из-под спуда, где он таился не известным самим его владельцам.

По сути своей, прошел ничтожный для истории срок, но он был до предела насыщен поступками каждого и событиями, значимыми для всех, повлиял на судьбы всякого человека. Общество сдвинулось с насиженного места, вынуждено было общаться по-новому и с новыми людьми. После всего этого вернуться в прежнее русло вырванное из него внешними обстоятельствами застойное течение общественное дел уже не могло; избавиться от результатов происшедшего сдвига, полностью от него очиститься не помогут никакие усилия, кто бы и как бы того ни хотел. И что знаменательно, изменения происходят в том, что кажется, на первый взгляд, совершенно эфемерным. Ну что значат заметные лишь изощренному глазу, то есть глазу заранее готовому видеть, новые черты поведения людей на рынке? В сущности, пустяк, не стоящий ни малейшего внимания...

«С массой случилось то же самое, что происходит с отдельной личностью, которая увидела много нового, узнала много необычайного и наряду с правилом “*Nil admirari*” — (ничему не удивляться), усвоила и более мягкие нравы» [3, с. 510]. Мы бы сказали сейчас, что выросла толерантность общества; свобода другого, его непохожесть на тебя принимается с меньшим психологическим напряжением, облегчается общение между людьми. А ведь все это и есть ускоритель общественного развития, выглядящим в глазах людей трезвых ничтожным и ничего не значащим.

Гофман, по сути дела, отмечает на этих страницах, что сбывается прогноз Канта относительно того, как же будут реализовываться исторические послы Французской революции, а последний по этому поводу предсказывал: «Не во все возрастающем количестве *моральности* в образе мыслей, а в увеличении результатов ее *легальности* и в соответствующих долгу поступках, какими бы мотивами они ни были продиктованы, т. е. в добрых деяниях людей, все увеличивающихся и все более удачных, следовательно, в проявлениях нравственного начала в человеческом роде, только и можно полагать главный итог его изменения к лучшему.

Постепенно насилие властей будет ослабевать, а послушание закону возрастать. В обществе несколько увеличатся благодеяния, уменьшатся распри и судебные процессы, появится вера в надежность данного слова и т. д. — как следствие отчасти благопристойности, отчасти правильного понимания собственной выгоды; в конце концов все это распространится на отношения между народами и найдет свое завершение во всемирном гражданском обществе» [4, с. 216—218].

Все происходит на берлинском рынке так, как это предвидел Кант, по крайней мере, в сфере частных отношений, а не международного права. Лишь на совсем небольшой срок народу была предоставлена относительная свобода самостоятельно решать свои дела, полицейский порядок ослаб, и сразу же сказались преимущества демократии: народ научился даже серьезные

распри, чреватые уголовными делами, решать своими силами и эффективно. Чего стоит финал конфликта между «высоким оборванцем, дерзким и свирепым на вид» и «вооруженным тяжелым мясничьим топором приказчиком из мясной лавки»? «Судя по всему, — констатирует «Кузен», — история должна была бы кончиться смертоубийством, пришлось бы действовать уголовному суду. Но зеленщицы, все — сильные, улитанные особы, сочли своей обязанностью заключить приказчика-мясника в свои объятия, столь ласковые и крепкие, что тот с места не мог двинуться; он стоял, высоко подняв свое оружие, как в патетических словах говорится о «грубом Пирре»:

Так, как злодей с картины, он стоял
И, словно чуждый воле и свершенью,
Бездействовал» [3, с. 509—510].

Гофман нашел необходимым процитировать Шекспира из второго акта «Гамлета», чтобы подчеркнуть, что зеленщицы дали возможность приказчику подумать, чтобы не действовать в аффекте гнева. Вынужденное бездействие отрезвляет. Аналогично обошлись и с оборванцем, которого сдали полиции, усмотрев в нем преступника-рецидивиста, — пусть разберется.

В этих условиях свершающаяся *теперь* реставрация прежних гражданских ограничений, насаждение еще более жестких полицейских порядков, нежели те, что были до войны, абсолютно нетерпимы; они могут привести общество к полной стагнации, более глубокому разложению. Движение вспять встречает сначала сопротивление, а затем, если власти не вменяют, а действуют все более жестко, сменяется безразличием. Особенно пагубно действует такая ситуация на молодежь, которую власти втягивают в разрешение своего конфликта с воспринявшим было гражданским обществом, развращая ее, подкупая предоставлением каких-то преимуществ и привилегий. И квалифицированный юрист, понимающий все в обстоятельствах малейшего отклонения от нормального поведения людей, и вместе с этим тонкий психолог, умеющий рассчитать реакцию умного, вникающего в подтекст читателя, Гофман обращает внимание читателей на один факт такого рода, давая ему чрезвычайно острую негативную оценку, осуществляя ее нарочито грубым, даже неприличным, сравнением, хотя казалось бы, обстоятельства не вызвали необходимости реагировать столь резко. Рассчитанная грубость, резко сменяющая стилистику повествования, призвана насторожить, как неожиданный вскрик, заострить внимание и побудить читателя задуматься.

Обстоятельства этого эпизода таковы. На замечание «Кузена», что даже «берлинский уличный мальчишка *раньше* рад был воспользоваться малейшим поводом — будь то непривычный наряд, чье-либо смешное злоключение — для отвратительных наглых выходов; *теперь* такого уже более не существует» [3, с. 510], «Я», или другой из кузенов, рассказал ему случившееся с ним на днях происшествие, призванное этот оптимизм несколько умерить. Происшествие в нескольких словах ничем, на первый взгляд, не примечательное: «Иду я у Бранденбургских ворот, а меня преследуют шарлоттенбургские извозчики, предлагают сесть, — начал «Я» свое повествование. — Один из них, мальчишка лет шестнадцати-семнадцати, не старше, дошел до такой наглости, что схватил меня за руку своей грязной пятерней. «Что это — за руки хватать!» — напустился я на него. «А в чем дело, сударь, — ответил мальчишка совершенно хладнокровно, вытаращив на меня глаза, — почему бы мне и не хватать вас? А может, вы нечестный человек?»

Реакция на этот рассказ «Кузена», изначально, как это видно из его высказывания о берлинских уличных мальчишках, благодушно и оптимистично настроенного, озадачивает, выглядит неправомерной, излишне экспрессивной. Он восклицает после этой истории: «Ха-ха! Это действительно шутка, но она — плод глубочайшего падения нравов, порождение вонючей [выгребной] ямы» [3, с. 511]... (В оригинале: Der Vetter. Haha! Dieser Witz ist wirklich einer, aber recht aus der stinkenden Grube der tiefften Depravation gestiegen) [6, S. 417]. Слова эти явно противоречат тому, что только что было сказано о берлинских мальчишках, и резко нарушают плавно текущую беседу.

Чем вызвана столь острая реакция?

И тут, по-моему, Гофман поручает читателю проделать ту же самую работу, какую занимались два кузена; по гофмановским расчетам читатель и сам должен был научиться по описанию ситуации находить ее объяснение, в воображении смоделировать ее причину и последствия. Фантазия братьев вполне способна разбудить и его фантазию.

Попробую же оправдать эти расчеты Гофмана как заинтересовавшийся внезапным употреблением столь грубого оборота и остановившийся в изумлении читатель, ищущий происшедшему истолкование. Бесцеремонность шарлоттенбургского парня, его наглая самоуверенность говорит о том, что вполне вероятных конфликтов с гражданами как возможными седоками он нисколько не боится. Как такое бесстрашие возможно? Видимо, он надеется, что полиция не взыщет с него строго? И реплика молодого извозчика «а может, вы нечестный человек?» позволяет догадаться, что так оно и есть, что для полиции он выполняет кое-какие услуги... Иначе какая ему разница, честный вы человек или вы нечестный человек? Он седока не приглашает, а ему угрожает. Столь широкая вербовка сикофантов — извозчики для этого дела весьма удобны — говорит об опасности быть откровенным в разговорах при посторонних, что полицейский надзор за умами осуществляется повсеместно. И самыми недостойными методами.

Приходится везде и всего остерегаться, ибо казенное око видит далеко, а королевское ухо и в лесу слышит. Все это означает, что с былыми гражданскими свободами покончено. А там, глядишь, и смягчившиеся нравы вновь ожесточатся. И первой страдает неопытная еще молодежь, которой льстит «важное для дела государства» поручение.

Как мало и одновременно как много сказано! Пожалуй, придется признать, что перемены в творческой поэтике Гофмана происходят прямо на глазах. Ранее он привлекал читателя к разгадке *описываемых* странных событий, вооружая его для этого ключом, а здесь он призывает его быть со-автором, со-творцом. Он уверен, что читатель справится с возлагаемыми на него надеждами. Ключ к объяснению дерзкого поведения юного извозчика как бы есть, и в то же самое время его как бы и нет.

И завершая свой анализ благотворного действия знакомства с республиканскими французскими нравами и растущей угрозы утратить приобретенный опыт благодаря слишком рьяной политике Реставрации, Гофман как бы вскользь, как бы мимоходом, но возвращается к мысли, что единственным «порождением выгребной ямы» может быть только падение нравов. «Я знаю, — говорит он устами «Кузена», — восторженные ригористы, сверхпатриотические аскеты злобно ратуют против этого внешнего лоска, считая, что, по мере того как сглаживаются нравы народа, сглаживается и исчезает все чисто народное. Я же искренне и твердо убежден, что народ, встречающий и со-

отечественника и чужестранца не грубостью или презрительной усмешкой, а вежливым обхождением, не может из-за этого утратить свой национальный характер» [3, с. 512]. Ура-патриоты любой нации слишком похожи друг на друга в стремлении законсервировать народное сознание в нем самом, боясь расширения кругозора народа и, как следствие, роста социальной активности. Гофману в его юридической практике пришлось столкнуться с этими ура-патриотическими бреднями; его попытки противодействовать подобной правительственной политике обернулись для него личным преследованием, личной драмой.

* * *

Когда сквозь призму современности смотришь и оцениваешь обыденную беседу двух «кузенов» — обычных европейцев, присевших к угловому окну, начинаешь понимать, как же рождалась такая реальность, как Европейский союз, осознаешь, что это плод воспитательных действий множества мыслителей, подобных Гофману. «Всемирно-гражданский план истории», обнародованный Кантом, увидевшим этот план встающим из ее исторических глубин, его ученики подхватили, сумели передать ученикам учеников и последователям последователей... Нужна огромная духовная работа народа, счастливого наличием своих избранников, подобных Иммануилу Канту или Эрнсту Теодору Амадею Гофману, Людвигу ван Бетховену или Фридриху Шиллеру, каждый из которых пропел свое *de profundis clamavi*... И был народом услышан. Пророчески звучат в финале новеллы Горациевы стихи: *et si male nunk, pop olim sic erit!* Собственные болести Гофман переносил мужественно, и та нестерпимо печальная интонация, с которой стихи эти были произнесены, свидетельствуют более о сожалении, что в том светлом мире, который грядет, нас уже не будет. А направление истории — *zum ewigen Frieden* — зависит только от нас.

Список литературы

1. Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. СПб.: Азбука-классика, 2001.
2. Гофман Э. Т. А. Жизнь и творчество. Письма, высказывания, документы / сост., авт. предисл. и послесл. и вступ. текстов к разд. Клаус Гюнцель. М.: Радуга, 1978.
3. Гофман Э. Т. А. Угловое окно // Э. Т. А. Гофман. Избр. произв. в 3 т. М.: Худ. лит., 1962. Т. 2.
4. Кант И. Спор факультетов / ред., предисл., коммент. Л. А. Калинин. Калининград: Изд-во КГУ, 2002.
5. Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. М.: Мысль, 1971.
6. Hoffmans Werke / Hrsg. von Dr. V. Schweizer. Zw. Band. Leipzig und Wien, 1896.

Об авторе

Калининков Леонард Александрович — д-р филос. наук, проф. кафедры философии и логики исторического факультета Российского государственного университета имени Иммануила Канта, kant@albertina.ru